

Daphne
DU MAURIER
1907–1989

Дафна
ДЮМОРЬЕ

Моя кузина Рейчел

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
Д 96

Daphne du Maurier
MY COUSIN RACHEL

Copyright © Daphne du Maurier, 1951

All rights reserved

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK
and The Van Lear Agency LLC

Перевод с английского Николая Тихонова

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

- © Н. Н. Тихонов (наследники),
перевод, 2019
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-10710-6

ГЛАВА 1

В старину преступников вешали на перепутье Четырех Дорог.

Но это было давно. Теперь убийца расплачивается за свое преступление в Бодмине на основании приговора, вынесенного судом присяжных. Разумеется, если совесть не убьет его раньше. Так лучше. Похоже на хирургическую операцию. Тело, как положено, передают земле, хоть и в безымянной могиле. В прежние времена было иначе. Вспоминаю, как в детстве я видел человека, висящего в цепях там, где сходятся Четыре Дороги. Его лицо и тело были обмазаны смолой, чтобы он не сгнил слишком быстро. Он провисел пять недель, прежде чем его срезали; я видел его на исходе четвертой.

Он раскачивался на виселице между небом и землей, или, как сказал мой двоюродный брат Эмброз, между небесами и адом. На небеса он все равно бы не попал, но и ад его жизни был для него потерян. Эмброз ткнул тело тростью. Как сейчас вижу: оно поворачивается от дуновения ветра, словно флюгер на ржавой оси, — жалкое пугало, некогда бывшее человеком. Дождь сгноил его брюки, не одолев плоть, и лоскутья грубой шерстяной ткани, будто оберточная бумага, свисают с конечностей.

Стояла зима, и какой-то шутник-прохожий сунул в разорванную фуфайку веточку остролиста. Тогда,

в семь лет, этот поступок показался мне отвратительным. Должно быть, Эмброз специально привел меня туда; возможно, он хотел испытать мое мужество, посмотреть, как я поступлю: убегу, рассмеюсь или заплачу. Мой опекун, отец, брат, советчик — в сущности, все на свете, он постоянно испытывал меня. Помню, как мы обошли виселицу кругом, и Эмброз постукивал по ней тростью. Потом он остановился, раскурил трубку и положил руку мне на плечо.

— Вот, Филип, — сказал он, — что ожидает нас всех. Одни встретят свой конец на поле боя. Другие — в постели. Третьи — где будет угодно судьбе. Спасения нет. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Но так умирает злодей. Пусть его пример послужит тебе и мне предостережением, ибо человек никогда не должен забывать о трезвости и умеренности.

Мы стояли рядом и смотрели на раскачивающийся труп, словно пришли развлечься на бодминскую ярмарку и перед нами висел не покойник, а старая Салли и меткий стрелок получал в награду кокосовый орех.

— Видишь, к чему может привести человека вспышка ярости, — сказал Эмброз. — Это Том Дженкин, честный, невозмутимый малый, пока не напьется. Жена его действительно была на редкость сварлива, но это не причина, чтобы убивать ее. Если бы мы убивали женщин за их язык, то все мужчины стали бы убийцами.

Я пожалел, что Эмброз назвал имя повешенного. До той минуты он был просто мертвецом, безликим и безымянным. Стоило мне взглянуть на виселицу, как я понял, что повешенный будет являться мне по ночам — безжизненный, вселяющий ужас. Теперь же он обрел связь с реальностью, стал человеком с водя-

нистыми глазами, который торговал крабами у городского причала. Летом он обычно стоял со своей корзиной на ступенях и, чтобы повеселить детей, устраивал уморительные крабьи гонки. Совсем недавно я видел его.

— Ну, — сказал Эмброз, — что ты о нем думаешь?

Я пожал плечами и ударил ногой по основанию виселицы. Эмброз не должен был догадаться, что творится у меня на душе и что я испугался. Он стал бы презирать меня. В свои двадцать семь лет Эмброз был для меня центром мироздания, во всяком случае — центром моего маленького мира, и я стремился во всем походить на него.

— Когда я видел его в последний раз, — ответил я, — у него было веселое лицо. А теперь он недостаточно свеж даже для того, чтобы пойти на наживку своим крабам.

Эмброз рассмеялся и потрепал меня за ухо.

— Молодец, малыш, — сказал он. — Ты говоришь как истинный философ. — Затем добавил, понимая мое состояние: — Если тебя тошнит, сходи в кусты. И запомни: я ничего не видел.

Он повернулся спиной к виселице и зашагал в сторону новой аллеи, которую велел прорубить в лесу, чтобы сделать вторую дорогу к дому. Я не успел дойти до кустов и был рад, что он ушел. Вскоре я почувствовал себя лучше, но зубы у меня стучали и тело бил озноб. Том Дженкин снова превратился в безжизненный предмет, в охапку тряпья. Более того — он послужил мишенью для брошенного мною камня. Расхрабрившись, я смотрел на труп, надеясь, что он шевельнется. Но этого не произошло. Камень глухо ударился о намокшую одежду и отлетел в сторону. Устыдясь своего поступка, я поспешил в новую аллею разыскивать Эмброза.

Да, с тех пор минуло целых восемнадцать лет, и, кажется, я никогда не вспоминал об этом случае. До самых недавних дней. Не странно ли, что в минуты жизненных потрясений мысли наши вдруг обращаются к детству? Так или иначе, но меня постоянно преследуют воспоминания о бедняге Томе, висящем в цепях на перепутье дорог. Я никогда не слышал его историю, да и мало кто помнит ее сейчас. Он убил свою жену — так сказал Эмброз. Вот и все. У нее был сварливый нрав, но это не повод для убийства. Видимо, будучи большим любителем выпить, он убил ее во хмелю. Но как? Каким оружием? Ножом или голыми руками? Быть может, в тот зимний вечер он, спотыкаясь, возвращался домой из харчевни у причала и душа его горела любовью и лихорадочным возбуждением? И высокий прилив заливал ступени причала, и полная луна сияла в темной воде... Кто знает, какие грезы будоражили его воспаленный мозг, какие буйные фантазии...

Возможно, когда он ощупью добрал до своего домика за церковью, бледный, пропахший крабами малый со слезящимися глазами, жена напустилась на него за то, что он наследил в доме. Она разбила его грезы, и он убил ее. Именно такой могла быть его история. Если жизнь после смерти не пустая выдумка, я отыщу беднягу Тома и спрошу его. Мы будем вместе грезить в чистилище. Но он был пожилым человеком лет шестидесяти, а то и старше. Мне же только двадцать пять. Мы будем грезить о разном. Итак, возвращайся к своим теням, Том, и оставь мне хоть малую толику душевного покоя. Я бросил в тебя камень, не ведая, что творю. Прости меня.

Все дело в том, что, как бы ни была горька жизнь, надо жить. Но как — вот в чем вопрос. Трудиться изо

дня в день — невелика премудрость. Я стану мировым судьей, как Эмброз, и со временем меня тоже изберут в парламент. Как и все члены моей семьи до меня, я буду пользоваться почетом и уважением. Усердно возделывать землю, заботиться о своих людях. И никто никогда не догадается, какая вина тяготит мою душу; никто не узнает, что, терзаемый сомнениями, я неустанно задаю себе один и тот же вопрос. Виновна Рейчел или невиновна? Может быть, я и это узнаю в чистилище.

Как нежно и трепетно звучит ее имя, когда я шепчу его! Оно медлит на языке, неторопливое, коварное, как яд — смертельный, но убивающий не сразу. С языка оно переходит на запекшиеся губы, с губ возвращается в сердце. А сердце управляет и телом, и мыслью. Освобожусь ли я когда-нибудь от его власти? Через сорок, через пятьдесят лет? Или в мозгу моем навсегда останется болезненная крупичка омертвевшего вещества? Частичка крови, отставшая от своих сестер на пути к сердцу, направляющему их бег? Быть может, когда все сущее окончательно утратит для меня смысл и значение, уснет и желание освободиться? Трудно сказать.

У меня есть дом, о котором надо заботиться, чего, конечно, ожидал от меня Эмброз. Я могу заново облицевать стены в местах, где проступает сырость, и содержать все в полном порядке. Могу продолжать высаживать кусты и деревья, озеленять склоны холмов, открытые ураганным ветрам с востока. Могу оставить после себя красоту, если ничего иного мне не дано. Но одинокий человек — человек неестественный, он быстро впадает в смятение. За смятением приходят фантазии. За фантазиями — безумие. Итак, я вновь возвращаюсь к висящему в цепях Тому Дженкину. Возможно, он тоже страдал.

Тогда, в тот далекий год, восемнадцать лет назад, Эмброз размашисто шагал по аллее, я брел за ним. На нем вполне могла быть та самая куртка, которую теперь ношу я. Старая зеленая охотничья куртка с локтями, обшитыми кожей. Я стал так похож на него, что мог бы сойти за его призрак. Мои глаза — это его глаза, мои черты — его черты. Человеком, который свистом подозвал своих собак и пошел прочь от перекрестка и виселицы, мог быть я сам. Ну что ж, я всегда этого хотел. Быть похожим на него. Иметь его рост, его плечи, его привычку сутулиться, даже его длинные руки, неуклюжие на вид ладони, его неожиданную улыбку, его стеснительность при встрече с незнакомыми людьми, его нелюбовь к суете, этикету. Простоту его обращения с теми, кого он любил, кто ему служил; те, кто говорит, будто я обладаю этими качествами, явно преувеличивают. И силу, оказавшуюся иллюзией, отчего нас и постигла одна и та же беда. Недавно мне пришло на ум: а что, если после того, как он, с затуманенным, терзаемым сомнениями и страхом рассудком, чувствуя себя покинутым и одиноким, умер на той проклятой вилле, где я уже не застал его, — дух Эмброза покинул брненное тело, вернулся домой и, ожив во мне, повторил былые ошибки, вновь покорился власти старой болезни и погиб дважды. Возможно, и так. Я знаю одно: мое сходство с ним — сходство, которым я так гордился, — погубило меня. Именно из-за него я потерпел поражение. Будь я другим человеком — ловким, проворным, острым на язык, практичным, — минувший год был бы обычными двенадцатью месяцами, которые пришли и ушли.

Но я был не такой; Эмброз — тоже. Оба мы были мечтатели — непрактичные, замкнутые, полные теорий, которые никогда не проверялись опытом жизни;

и, как все мечтатели, мы были глухи к бурлящему вокруг нас миру. Испытывая неприязнь к себе подобным, мы жаждали любви, но застенчивость не давала пробудиться порывам, пока они не трогали сердца. Когда же это случалось, небеса раскрывались, и нас обоих охватывало чувство, будто все богатство мироздания принадлежит нам, и мы были готовы без колебаний отдать его. Оба мы уцелели бы, если бы были другими. Рейчел все равно приехала бы сюда. Провела бы день-два и навсегда покинула бы наши места. Мы обсудили бы деловые вопросы, пришли бы к какому-нибудь соглашению, выслушали завещание, официально зачитанное за столом в присутствии нотариусов, и я, с первого взгляда оценив положение, выделил бы ей пожизненную пенсию и навсегда избавился бы от нее.

Этого не произошло потому, что я был похож на Эмброза. Этого не произошло потому, что я чувствовал, как Эмброз. В первый же вечер по приезде Рейчел я поднялся в ее комнату, постучал и, слегка склонив голову под притолокой, остановился в дверях. Когда она встала со стула около окна и взглянула на меня снизу вверх, я по выражению ее глаз должен был понять, что увидела она вовсе не меня, а Эмброза. Не Филипа, а призрак. Ей надо было сразу уехать. Собрать вещи и уехать. Отправиться туда, где она своя, где все ей знакомо и близко, — на виллу, хранящую воспоминания за скрытыми ставнями окнами, к симметрично разбитым террасам сада, к плачущему в небольшом дворике фонтану. Вернуться в свою страну — летом выжженную солнцем, окутанную знойной дымкой, зимой — сурово застывшую под холодным ослепительным небом. Инстинкт должен был предупредить ее, что, оставаясь со мной, она

погубит не только явившийся ей призрак, но в конце концов и себя самое.

Вновь и вновь спрашиваю я себя: подумала ли она, увидев, как я стою в дверях, робкий, нескладный, объятый жгучим негодованием, сознавая, что я здесь — хозяин и глава, и вместе с тем гневно досадуя на свои длинные руки, неуклюжие, как у необъезженного жеребенка ноги, — подумала ли она: «Таков был Эмброс в свои молодые годы. До меня. Таким я его не знала» — и тем не менее осталась?

Возможно, именно поэтому при моей первой короткой встрече с Райнальди, итальянцем, он тоже постарался скрыть изумление, на мгновение задумался и, поиграв пером, которое лежало на его письменном столе, спросил: «Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рейчел вас не видела?» Инстинкт предупредил и его. Но слишком поздно.

Что прошло, то миновало. Возврата нет. Ничто в жизни не повторяется. Живой, сидя здесь, в своем собственном доме, я так же не могу вернуть сказанное слово или совершённый поступок, как бедный Том Дженкин, когда он раскачивался в своих цепях.

Ник Кендалл, мой крестный, с присущей ему грубоватой прямоотой сказал мне накануне моего двадцатипятилетия — всего несколько месяцев назад, но, боже, как давно: «Есть женщины, Филип, возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей вине приносят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я говорю тебе это, но чувствую, что должен сказать». И он засвидетельствовал мою подпись под документом, который я положил перед ним.

Да, возврата нет. Юноши, что стоял под ее окном накануне своего дня рождения, юноши, что стоял в

дверях ее комнаты в вечер ее приезда, больше не существует, как не существует и ребенка, который для храбрости бросил камень в повешенного. Том Дженкин, потрепанный образчик рода человеческого, никем незнаемый и не оплакиваемый, тогда, за далью этих восемнадцати лет, смотрел ли ты с грустью и состраданием, как я бегу через лес... в будущее?

Если бы я оглянулся назад, то в цепях, свисающих с перекладины виселицы, я увидел бы не тебя, а свою собственную тень.

ГЛАВА 2

Когда вечером накануне отъезда Эмброза в его последнее путешествие мы сидели вдвоем и разговаривали, у меня не было ощущения близкой беды. Предчувствия, что мы больше никогда не будем вместе. Осень подходила к концу; врачи в третий раз велели ему провести зиму за границей, и я уже привык к его отсутствию, привык в это время смотреть за имением. Когда он уехал в первый раз, я еще был в Оксфорде и его отъезд не внес никаких изменений в мою жизнь, однако на следующую зиму я окончательно вернулся и все время был дома, как он того и хотел. Я не тосковал по стадной жизни в Оксфорде — скорее, был даже рад, что расстался с ней.

Я никогда не стремился жить вне дома. За исключением лет, проведенных в Харроу¹, а затем в Оксфорде, я всегда жил здесь, с тех пор как меня привезли сюда полуторогодовалым младенцем после смерти моих молодых, рано умерших родителей. Эмброз

¹ Одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ; находится в пригороде Лондона.

проникся жалостью к своему осиротевшему двоюродному брату и вырастил меня сам, как вырастил бы щенка, котенка или любое другое слабое, одинокое существо, которому нужны защита и ласка.

Эмброз всегда хозяйничал не совсем обычно. Когда мне было три года, он рассчитал мою няньку за то, что она отшлепала меня гребенкой для волос. Этого случая я не помнил, но Эмброз потом рассказал мне о нем.

— Я чертовски рассердился, — сказал он мне, — увидев, как эта баба своими огромными шершавыми ручищами колотит твою крошечную персону за пустячный проступок, понять который у нее не хватило разумения.

Мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Не было и не могло быть человека более справедливого, более честного, более любящего, более чуткого и отзывчивого. Он обучил меня азбуке самым простым способом — пользуясь начальными буквами бранных слов (чтобы набрать двадцать шесть таких слов, потребовалась немалая изобретательность, но он справился с этой задачей), предупредив меня, чтобы я не произносил их при людях. Неизменно учтивый и обходительный, Эмброз робел при женщинах и не доверял им, говоря, что они приносят в дом несчастье. Поэтому в слуги он нанимал только мужчин, и их шатией управлял старый Сиком, дворецкий моего покойного дяди.

Эксцентричный, пожалуй, не без странностей — наши западные края известны причудами своих обитателей, — Эмброз, несмотря на сугубо индивидуальный подход к женщинам и к методам воспитания маленьких мальчиков, не был чудачком. Соседи его любили и уважали, арендаторы души в нем не чаяли. Пока его не скрутил ревматизм, он охотился зимой,

летом удил рыбу с небольшой лодки, которую держал на якоре в устье реки, навещал соседей, когда чувствовал к тому расположение, по воскресеньям ходил в церковь (хотя и строил мне уморительные гримасы с другого конца семейной скамьи, если проповедь слишком затягивалась) и всячески старался заразить меня своей страстью к разведению редких растений.

— Это такая же форма творения, как и все прочее, — обычно говорил он. — Некоторые мужчины пекутся о продолжении рода. А я предпочитаю растить жизнь из почвы. Это требует меньших усилий, а результат приносит гораздо большее удовлетворение.

Такие заявления шокировали моего крестного Ника Кендалла, vicария Паско и других приятелей Эмброза, которые пытались убедить его взяться за ум, обзавестись семьей и растить детей, а не родо-дендроны.

— Одного юнца я уже вырастил, — отвечал он, трепля меня за ухо. — Он отнял у меня двадцать лет жизни, а может, и прибавил — это еще как посмотреть. Более того, Филип — готовый наследник, так что не стоит говорить, будто я пренебрегаю своим долгом. Когда придет время, он выполнит его за меня. А теперь, джентльмены, садитесь и располагайтесь поудобнее. В доме нет ни одной женщины, а по-сему можно класть ноги на стол и плевать на ковер.

Естественно, ничего подобного мы не делали. Эмброс отличался крайней чистоплотностью и тонким вкусом, но ему доставляло истинное удовольствие отпускать такие замечания в присутствии нового vicария — бедняги, находившегося под каблуком у жены и обремененного целым выводком дочерей. По окончании воскресного обеда подавали портвейн,

и мой брат, наблюдая за его круговым движением, подмигивал мне с противоположного конца стола.

Как сейчас вижу: Эмброз, полусгорбившись, полуразвалившись — эту позу я перенял у него, — сидит на стуле, сотрясаясь от беззвучного смеха, вызванного робкими увещеваниями викария, и вдруг, испугавшись, что может оскорбить его чувства, переводит разговор на предметы, доступные пониманию низенького гостя, и изо всех сил старается, чтобы тот чувствовал себя спокойно и уверенно.

Поступив в Харроу, я еще больше оценил достоинства Эмброза. Во время каникул, которые пролетали слишком быстро, я постоянно сравнивал брата и его приятелей со своими шумными однокашниками и учителями, сдержанными, холодными, чуждыми, по моим представлениям, всему человеческому.

— Ничего, ничего, — похлопывая меня по плечу, обычно говорил Эмброз, когда я, с побелевшим лицом и чуть не плача, садился в экипаж, отвозивший меня к лондонскому дилижансу. — Это всего лишь подготовка, что-то вроде объездки лошади. Потерпи. Ты и оглянуться не успеешь, как окончишь школу и я заберу тебя домой и сам займусь твоим обучением.

— Обучением — чему? — спросил я.

— Ты ведь мой наследник, не так ли? А это уже само по себе профессия.

И наш кучер Веллингтон увозил меня в Бодмин, чтобы успеть к лондонскому дилижансу. Я оборачивался в последний раз взглянуть на Эмброза. Он стоял, опершись на трость, в окружении своих собак. В уголках его глаз от искреннего сочувствия собирались морщинки; густые вьющиеся волосы начали сесть. Когда он входил в дом, свистом зовя собак, я проглатывал подступивший к горлу комок и чувствовал, как колеса кареты с фатальной неизбежностью

несут меня по гравиевой дорожке парка, через белые ворота, мимо сторожки привратника, — в школу, различая со всем, что я так люблю.

Однако Эмброз переоценил свое здоровье, и, когда мои школьные и университетские годы остались позади, пришел его черед уезжать.

— Мне говорят, что если я проведу здесь еще одну дождливую зиму, то окончу свои дни в инвалидном кресле, — однажды сказал он мне. — Надо отправляться на поиски солнца. К берегам Испании или Египта, куда-нибудь на Средиземное море, где сухо и тепло. Не то чтобы я хотел уезжать, но, с другой стороны, будь я проклят, если соглашусь кончать жизнь инвалидом. У такого плана есть одно достоинство. Я привезу растения, каких здесь ни у кого нет. Посмотрим, как заморские чертенята зацветут на корнуэльской почве.

Пришла и ушла первая зима, за ней без особых изменений — вторая. Эмброз был доволен путешествием, и я не думаю, что он страдал от одиночества. Он привез одному богу известно сколько саженцев деревьев и кустов, цветов и других растений всевозможных форм и оттенков. Особую страсть он питал к камелиям. Мы отвели под них целую плантацию, и то ли руки у него были особенные, то ли он знал волшебное слово — не знаю, но они сразу зацвели, и мы не потеряли ни одного цветка.

Так наступила третья зима. На этот раз Эмброз решил ехать в Италию. Он хотел увидеть сады Флоренции и Рима. Зимой ни там, ни там тепла не найдешь, но Эмброза это не беспокоило. Кто-то уверил его, что воздух там будет холодный, но сухой и можно не опасаться дождя. В тот последний вечер мы разговаривали допоздна. Эмброз был не из тех, кто

рано ложится спать, и мы нередко засиживались в библиотеке до часа, а то и до двух часов ночи, иногда молча, иногда беседуя, протянув к огню длинные ноги, а вокруг нас лежали свернувшиеся калачиком собаки. Я уже говорил, что у меня не было дурных предчувствий, но сейчас, возвращаясь мысленно назад, я спрашиваю себя: а не было ли их у него? Он то и дело останавливал на мне задумчивый, немного смущенный взгляд, потом переводил его на обшитые деревянными панелями стены, на знакомые картины, на камин, с камин — на спящих собак.

— Хорошо бы тебе поехать со мной, — неожиданно сказал он.

— Мне недолго собраться, — ответил я.

Он покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Я пошутил. Нам нельзя оставить дом обоим сразу на несколько месяцев. Видишь ли, быть землевладельцем — большая ответственность, хоть и не все так думают.

— Я мог бы доехать с тобой до Рима, — сказал я, увлеченный своей идеей. — И если не помешает погода, вернуться домой к Рождеству.

— Нет, — медленно проговорил он, — нет, это просто каприз. Забудь о нем.

— Ты действительно хорошо себя чувствуешь? — спросил я. — Ничего не болит?

— Слава богу, нет, — рассмеялся Эмброз. — Уж не принимаешь ли ты меня за инвалида? Вот уже несколько месяцев у меня не было ни одного приступа ревматизма. Вся беда в том, Филип, мальчик мой, что я до смешного привязан к дому. Когда ты поживешь с мое, то, возможно, поймешь меня.

Эмброз встал со стула и подошел к окну. Он раздвинул тяжелые портьеры и несколько мгновений внимательно смотрел на лужайку под окнами. Вечер

был тих и безветрен. Галки устроились на ночлег, и даже совы не нарушали тишины.

— Я рад, что мы разделались с тропинками и положили дерн вокруг дома, — сказал он. — А когда трава зазеленеет до самого выгона, будет еще красивее. Со временем тебе придется вырубить мелколесье, чтобы открыть вид на море.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Что значит мне придется? Почему не тебе?

Он ответил не сразу.

— Это одно и то же, — наконец сказал он. — Одно и то же. Какая разница? Но все же запомни. На всякий случай.

Дон, мой старый ретривер, поднял голову и посмотрел на Эмброза. Он уже видел перевязанные картонки в холле и чуял близость отъезда. Он с трудом встал с пола, подошел к Эмброзу и, опустив хвост, остановился рядом с ним. Я тихо позвал его, но пес не пошел ко мне. Я выбил в камин пепел из трубки. Часы на колокольне пробили несколько раз. Со стороны кухни донесся ворчливый голос Сикома, отчитывающего поваренка.

— Эмброз, — сказал я, — Эмброз, разреши мне поехать с тобой.

— Не валяй дурака, Филип, и иди спать, — ответил он.

Вот и все. Больше мы не обсуждали этот вопрос. Утром, во время завтрака, Эмброз дал мне последние наставления относительно весенних посадок и разных дел, которые мне надлежало выполнить к его приезду. Ему пришла фантазия устроить лебединый пруд на заболоченном участке парка у самого начала восточной дороги к дому, и за зиму, если выдастся погода, этот участок надо было вырубить и раскорчевать. Незаметно подошло время расставания. Эмб-

роз уезжал рано, и к семи часам мы позавтракали. Он собирался переночевать в Плимуте и с утренним приливом выйти в море. Корабль — обычное торговое судно — доставит его в Марсель, оттуда он не спеша отправится в Италию; Эмброс любил длинные морские путешествия.

Было сырое, промозглое утро. Веллингтон подал экипаж к дверям дома, и вскоре на крыше горой громоздился багаж. Лошади от нетерпения били копытами. Эмброс обернулся и положил руку мне на плечо.

— Смотри не подведи меня, — сказал он.

— Удар ниже пояса, — ответил я. — Я еще никогда не подводил тебя.

— Ты очень молод. Я возлагаю на твои плечи слишком многое. Но ведь все, что мне принадлежит, — твое. И ты это знаешь.

Думаю, что, если бы я настаивал, он разрешил бы мне ехать с ним. Но я ничего не сказал. Сиком и я усадили Эмброза со всеми его пледями и тростями в экипаж, и он улыбнулся нам из открытого окна.

— Все в порядке, Веллингтон, — сказал он. — Трогай.

И под начавшим накрапывать дождем экипаж покати по подъездной аллее.

Неделя проходила за неделей своим чередом. Я, как всегда остро, чувствовал отсутствие Эмброза, но мне было чем занять себя. Когда мне становилось одиноко, я верхом отправлялся к моему крестному Нику Кендаллу, единственная дочь которого Луиза была на два года моложе меня. Мы с детства дружили. Она была довольно хорошенькой девушкой, серьезной и не склонной к фантазиям. Эмброс, бывало, говорил шутя, что в один прекрасный день она

станет моей женой, но я, признаться, никогда не вообразил ее в этой роли.

Первое письмо Эмброза пришло в середине ноября с тем же судном, которым он прибыл в Марсель. Плавание прошло без происшествий, погода была неплохая, несмотря на легкую качку в Бискайском заливе. Чувствовал он себя хорошо, настроение было отличное, и он с удовольствием предвкушал поездку в Италию. Он решил не прибегать к услугам дилижанса, чтобы не ехать вглубь материка, и нанял экипаж с лошадьми, предполагая добраться до Италии берегом, а затем повернуть к Флоренции. При этом известии Веллингтон покачал головой и предрек какой-нибудь несчастный случай. По его глубокому убеждению, ни один француз не умеет править лошадьми, а все итальянцы — разбойники. Однако Эмброс остался цел и невредим, и следующее письмо пришло из Флоренции. Я сохранил все его письма, и сейчас они лежат передо мной. Как часто читал я их в последние месяцы; подолгу держал в руках, переворачивал, перечитывал вновь и вновь, словно прикосновением можно было извлечь нечто большее, нежели то, что значили начертанные на бумаге слова.

В конце письма из Флоренции, где он, очевидно, провел Рождество, Эмброс впервые заговорил о кухне Рейчел.

«Я познакомился с нашей дальней родственницей, — писал он. — Ты, конечно, слышал от меня про Коринов, у которых было имение на берегу Теймара, давно проданное и перешедшее в другие руки. Один из Коринов два поколения назад взял в жены девушку из семьи Эшли, свидетельство чему ты можешь найти на нашем генеалогическом древе. Внучка этой четы роди-

лась в Италии, где ее воспитали полунищий отец и мать-итальянка. В очень раннем возрасте ее выдали замуж за аристократа по фамилии Сангаллетти, который распростился с жизнью на дуэли (похоже, будучи навеселе), оставив жене кучу долгов и огромную пустую виллу. Детей нет. Графиня Сангаллетти — или, как она упорно просит называть ее, моя кузина Рейчел — здраво-мыслящая женщина; ее общество мне крайне приятно, и, кроме того, она взяла на себя труд показать мне сады Флоренции, а затем и Рима, поскольку мы будем там в одно и то же время».

Я был рад, что Эмброз нашел друга, способного разделить его страсть к садам. Не зная, что собой представляет флорентийское и римское общество, я опасался, что английских знакомств у моего кузена будет немного, и вот появляется особа, чья семья родом из Корнуолла, — значит, и здесь они найдут нечто общее.

Следующее письмо почти целиком сводилось к перечню садов, которые хоть и не стояли в то время года во всей своей красе, произвели на Эмброза огромное впечатление. Такое же впечатление они производили на нашу родственницу.

«Я начинаю проникаться искренним расположением к нашей кузине Рейчел, — писал Эмброз ранней весной. — Мне становится не по себе, когда я думаю, что ей пришлось вытерпеть от этого Сангаллетти. Что ни говори, а итальянцы — вероломные мерзавцы. По своим взглядам она такая же англичанка, как ты да я, словно только вчера жила на берегу Теймара. Когда я рассказываю о наших местах, она просто не может послушаться. Она чрезвычайно умна, но, слава богу, умеет придержать язык. Ничего похожего на обычную женскую болтовню. Во Фьезоле она нашла для меня отличные комнаты недалеко от своей виллы, и, когда станет теп-

ло, я буду проводить большую часть времени у нее, сидя на террасе или слоняясь по саду. Кажется, он знаменит своей планировкой и скульптурами, в чем я не очень разбираюсь. Не знаю, на какие средства она живет, но догадываюсь, что ей пришлось продать много ценных вещей с виллы, чтобы расплатиться с долгами мужа».

Я спросил моего крестного Ника Кендалла, помнит ли он Коринов. Он их помнил, но мнения о них был весьма невысокого.

— Я тогда был мальчишкой. Никчемная компания, — сказал он. — Проиграли в карты все свои деньги и имения. Их дом на Теймаре не лучше развалившейся фермы. Лет сорок как пришел в полное запустение. Должно быть, отец этой женщины — Александр Корин; если не ошибаюсь, он отправился на континент, и с тех пор о нем никто не слыхал. Он был вторым сыном второго сына. Правда, не знаю, что с ним случилось потом. Эмброс пишет о возрасте графини?

— Нет, — ответил я, — только то, что она очень молодой вышла замуж, но когда — не пишет. Думаю, она средних лет.

— Должно быть, она очень хороша, раз мистер Эшли обратил на нее внимание, — заметила Луиза. — Я никогда не слышала, чтобы он восхищался хоть одной женщиной.

— Вероятно, она некрасива и скромна, — сказал я, — и он не чувствует себя вынужденным говорить ей комплименты. Я в восторге.

Пришло еще несколько писем, достаточно бесвязных, без особых новостей.

Он только что вернулся с обеда у нашей кузины Рейчел или отправлялся к ней на обед. Как мало, писал он, среди ее друзей во Флоренции людей, которые могут помочь ей искренним, незаинтересован-

ным советом. Он тешил себя надеждой — и писал об этом, — что может подать ей такой совет. И как же она была ему благодарна... У нее не было ничего общего с Сангаллетти, и она признавалась, что всю жизнь мечтала иметь друзей-англичан. «У меня такое чувство, — писал он, — что, кроме сотен новых растений, которые я привезу домой, я приобрел что-то еще».

Прошло некоторое время. Он не написал, когда собирается вернуться; обычно это бывало ближе к концу апреля. Зима, казалось, не спешила уходить, и морозы, редкие в наших западных краях, были на удивление сильные. Они побили несколько молодых камелий Эмброза, и я надеялся, что он вернется не слишком рано и не застанет пронизывающих ветров и затяжных дождей.

Вскоре после Пасхи от него пришло письмо.

«Мой дорогой мальчик, — писал Эмброс, — тебя удивляет мое молчание? Откровенно говоря, я никогда не думал, что придет день и я напишу тебе такое письмо. Пути Господни неисповедимы. Мы всегда были так близки с тобой, и ты, наверное, догадался, какое смятение царило в моей душе последние недели. Смятение не совсем точное слово. Скорее — радостное замешательство, которое превратилось в уверенность. Я не принимал скоропалительных решений. Как тебе известно, я слишком дорожу своими привычками, чтобы менять образ жизни ради мимолетной прихоти. Я нашел нечто такое, чего никогда прежде не находил и даже не думал, что оно существует. Мне все еще не верится, что это случилось. Мысли мои часто обращались к тебе, и тем не менее до сегодняшнего утра я не чувствовал в себе достаточно сил и душевного спокойствия, чтобы писать. Ты должен знать, что твоя кузина Рейчел и я две недели назад стали мужем и женой. Сейчас мы проводим

медовый месяц в Неаполе и намерены вскоре вернуться во Флоренцию. В более отдаленное будущее я не заглядываю. Мы не строили никаких планов, и пока их нет ни у нее, ни у меня.

Скоро, Филип, надеюсь, что теперь уже совсем скоро, ты узнаешь ее. Если бы я не боялся утомить тебя, то мог бы описать ее, мог бы рассказать о ее доброте, о ее искренней, заботливой нежности. Не могу сказать, почему среди всех она выбрала именно меня — сварливого, циничного женоненавистника, если возможно подобное сочетание. По этому поводу она часто подтрунивает надо мной, и я признаю свое поражение. Быть побежденным такой женщиной, как она, — в известном смысле победа. И я мог бы назвать себя победителем, а не побежденным, если бы не боялся показаться слишком самоуверенным.

Сообщи всем эту новость, передай им мои приветы, а также приветы Рейчел и запомни, мой дорогой, любимый мальчик, что этот брак, поздний брак, не только ни на йоту не уменьшит моей глубокой любви к тебе, но, напротив, усилит ее; теперь, когда я чувствую себя счастливейшим из людей, я сумею сделать для тебя больше, чем прежде, и Рейчел мне поможет. Поскорее напиши мне и, если можешь, прибавь несколько слов приветов для своей кузины Рейчел.

Всегда преданный тебе

Эмброз».

Письмо пришло около половины шестого, я только что пообедал. Сиком принес почтовую сумку и оставил ее мне. Я положил письмо в карман, вышел из дома и зашагал через поле к морю. Племянник Сикома, державший на берегу небольшую коптильню, поздоровался со мной. Он развесил рыболовные сети, и они сохли на каменной стене под последними лучами заходящего солнца. Я едва ответил ему, и он, наверное, счел меня грубияном. Я перебрался

через скалы на узкий риф, выдававшийся в маленькую бухту, в которой я часто плавал летом. Эмброз обычно бросал якорь ярдах в пятидесяти от берега, и я доплывал до его лодки. Я сел, вынул письмо и перечитал его. Если бы я мог ощутить хоть малую толику, проблеск радости за тех двоих, что делили общее счастье в далеком Неаполе, совесть моя была бы спокойна. Стыдясь за самого себя, проклиная собственный эгоизм, я не мог пробудить в своем сердце хоть сколько-нибудь теплого чувства. Оцепенев от горя, я сидел и не сводил глаз с гладкого, спокойного моря. Недавно мне исполнилось двадцать три года, и тем не менее я чувствовал себя таким же одиноким и растерянным, как в те давние дни, когда сидел на скамье четвертого класса Харроу, без друзей, готовых утешить меня, а впереди открывался мир новых, незнакомых переживаний, входить в который я не хотел и страшился.

ГЛАВА 3

Особенно стыдно мне было из-за восторга его друзей, их неподдельной радости и искренней заботы о его благополучии. На меня обрушился целый поток поздравлений — с явным расчетом, что они будут переданы Эмброзу; отвечая на них, я должен был улыбаться, кивать головой и делать вид, будто давно знал, что это случится. Я чувствовал себя лицемером, предателем. Эмброз воспитал во мне отвращение к притворству — как в человеке, так и в животном, и сознание того, что сам я притворяюсь, доводило меня до исступления.

«Лучшего не придумаешь». Как часто слышал я эти слова и должен был вторить им! Я стал избегать

соседей и, не желая постоянно видеть любопытные лица и терпеть утомительную болтовню, отсиживался дома или бродил по лесу. Но если я объезжал имение или отправлялся в город, спасения не было. Стоило кому-нибудь из наших арендаторов или знакомых хотя бы издали заметить меня, как я был обречен на бесконечные разговоры. Словно посредственный актер, я с усилием изображал улыбку и, чувствуя, как напрягается кожа на лице, протестуя против насилия, был вынужден отвечать на вопросы с той ненавистной мне сердечностью, какую в обществе ожидают от нас, если речь заходит о свадьбе. «Когда они собираются домой?» Ответ всегда был один: «Не знаю. Эмброз не написал».

Высказывались всевозможные домыслы относительно внешности, фигуры, возраста новобрачной, на что я неизменно отвечал: «Она вдова и тоже любит сады».

Все кивали головой — очень подходит, лучшего и желать нельзя, как раз для Эмброза. Затем следовали шутки, остроты и бурное веселье по поводу того, что на такого убежденного холостяка надели супружеский хомут.

Сварливая миссис Паско, жена vicария, назойливо возвращалась к злосчастной теме, будто брала реванш за прошлые оскорбления, нанесенные священному институту брака.

— Вот уж теперь-то, мастер Филип, все изменится, — говорила она при каждом удобном случае. — Теперь в вашем доме все будут ходить по струнке. И хорошо. Очень хорошо, скажу я вам. Хоть слуг наконец приучат к порядку. Вряд ли Сикому это понравится, уж слишком долго он делал все по-своему.

В этом она была права. Думаю, Сиком был моим единственным союзником, но я не признавался в том

и остановил старика, когда тот попробовал выведать мое отношение к случившемуся.

— Не знаю, что и сказать, мастер Филип, — мрачно и как бы смиренно пробормотал он. — Хозяйка все в доме перевернет вверх дном, и мы не будем знать, на каком мы свете. Сперва одно, потом другое; чего доброго, ей и не угодишь. Пожалуй, пора мне уходить на покой и уступить место кому-нибудь помоложе. Вам бы не мешало упомянуть об этом мистере Эмброзу, когда будете ему писать.

Я сказал, чтобы он не говорил глупостей, что Эмброз и я пропадем без него, но он покачал головой и продолжал ходить по дому с вытянутым лицом, не упуская возможности намекнуть на невеселое будущее: что и время завтрака, обеда и ужина обязательно поменяют, и мебель заменят, и велют без конца убирать в доме, не давая никому ни минуты роздыха, и — как последний удар — даже бедных собак прикажут уничтожить. Подобные предсказания, произнесенные замогильным тоном, отчасти вернули мне утраченное было чувство юмора, и я рассмеялся — впервые с тех пор, как прочел последнее письмо Эмброза.

Ну и картину изобразил Сиком! Я представил себе целый полк горничных, которые, вооружась швабрами, обметают по всему дому паутину, а старый дворецкий, выпятив, по своему обыкновению, нижнюю губу, с ледяной миной наблюдает за ними! Его уныние меня забавляло, но когда нечто похожее предсказывали другие — даже Луиза Кендалл, которая по старой дружбе могла бы проявить больше проницательности и придержать язык, — то их замечания вызывали во мне глухое раздражение.

— Слава богу, теперь в вашей библиотеке сменят обивку, — весело сказала Луиза. — Она совсем потуск-

нела и протерлась от старости, но вы, смею сказать, этого и не замечали. А цветы в доме — какая прелесть! Гостиная наконец приобретет нормальный вид. Я всегда считала, что не пользоваться ею — настоящее расточительство. Миссис Эшли, конечно же, украсит ее книгами и картинами со своей итальянской виллы.

Она все болтала и болтала, перечисляя бесконечные усовершенствования, пока я не потерял терпение и не сказал ей довольно грубо:

— Ради бога, Луиза, перестань. Надоело.

Она замолкла и проницательно взглянула на меня.

— Ты, случайно, не ревнуешь? — спросила она.

— Не говори глупостей, — ответил я.

Я поступил скверно, но мы настолько хорошо знали друг друга, что я смотрел на нее как на младшую сестру и обращался с ней без особой почтительности.

Она умолкла, и с тех пор я стал замечать, что, когда во время общего разговора речь заходила о жеманстве Эмброза, она бросала на меня быстрый взгляд и старалась сменить тему. Я был благодарен Луизе, и мое отношение к ней стало еще теплее.

Последний удар, разумеется нечаянно, нанес мой крестный и ее отец — Ник Кендалл.

— У тебя уже есть какие-нибудь планы на будущее, Филип? — спросил он однажды вечером, когда я приехал к ним обедать.

— Планы, сэръ? Нет, — ответил я, не совсем уловив смысл вопроса.

— Впрочем, еще рано, — сказал он. — К тому же, я полагаю, следует дождаться возвращения Эмброза и его жены. Меня интересует, не решил ли ты присмотреть для себя небольшой кусок земли в округе.

Я не сразу понял, что он имеет в виду.

— А зачем? — спросил я.

— Но ведь дела приняли несколько иной оборот, не правда ли? — заметил он, будто говорил о чем-то решенном. — Вполне естественно, что Эмброз и его жена захотят быть вместе. И если будут дети, сын, то это отразится на твоём положении. Я уверен, Эмброз не допустит, чтобы ты пострадал из-за перемены в его жизни, и купит тебе любой участок. Конечно, не исключено, что у них не будет детей, но, с другой стороны, для подобных предположений нет никаких причин. Ты мог бы заняться строительством. Иногда строительство собственного дома приносит гораздо большее удовлетворение, чем покупка готового.

Он продолжал говорить, называя подходящие участки в радиусе миль двадцати от нашего дома, и я был благодарен ему за то, что он, казалось, не ждал ответа. Не скрою, сердце мое было переполнено, и я ничего не мог сказать крестному. То, что он предлагал, было так неожиданно, что я не мог собраться с мыслями и вскоре извинился и уехал. Да, я ревновал. Пожалуй, Луиза была права. Ревновал, как ребенок, который должен делить с посторонним того единственного, кто есть у него в жизни. Подобно Сикому, я представлял себе, как изо всех сил стараюсь освоиться с новым, стесняющим меня образом жизни. Как выбиваю трубку, встаю со стула, предпринимаю неуклюжие попытки участвовать в разговоре, приучаю себя к чопорности и скуке женского общества; как, видя, что Эмброз, мой бог, ведет себя словно последний простофиля, в отчаянии выхожу из комнаты. Но я никогда не представлял себя отверженным, выставленным из дома и живущим на содержании, как отставной слуга. Появится ребенок, который будет называть Эмброза отцом, и я стану лишним.

Если бы мое внимание на эту возможность обратила миссис Паско, я бы объяснил ее слова злопыхательством и забыл о них. Иное дело, когда такое заявляет мой тихий, спокойный крестный. Домой я возвращался в сомнениях и печали. Я не знал, что делать, как поступить. Строить планы на будущее, как советовал крестный? Найти себе дом? Готовиться к отъезду? Я хотел жить только там, где живу, владеть только той землей, какую владею. Эмброс вырастил меня на ней и для нее. Она была моей. Она была его. Она принадлежала нам обоим. Теперь уже нет. Все изменилось. Помню, как, вернувшись от Кендаллов, я бродил по дому, глядя на все новыми глазами, и собаки, заразившись моим возбуждением, не отставали от меня ни на шаг. Моя старая, заброшенная детская, куда лишь недавно каждую неделю стала приходиться племянница Сикома, чтобы разбирать и чинить белье, обрела для меня новое значение. Я представил себе, что ее заново выкрасили, а маленькую битую для крикета, которая все еще стояла, покрытая паутиной, на полке между стопками пыльных книг, выкинули на помойку. Примерно раз в два месяца наведываясь туда забрать починенную рубашку или заштопанные носки, я никогда не задумывался над тем, с какими воспоминаниями связана для меня эта комната. Теперь же мне захотелось вернуть ее и уединиться там от всего мира. Но она станет совершенно чуждой мне: душной, с запахом кипяченого молока и сохнувших одеял, как комнаты в домах арендаторов, когда там есть маленькие дети. Я зримо представлял себе, как они, вопя, ползают по полу, ударяясь обо все головой, расшибая локти, или, что еще хуже, лезут к вам на колени и по-обезьяньи гримасничают, если им этого не разрешают. Боже, неужели все это ждет Эмброза?!

До сих пор, думая о моей кузине Рейчел, что случилось довольно редко, ибо я гнал от себя ее имя, как гонят неприятные мысли, я рисовал себе женщину, похожую на миссис Паско, но еще менее симпатичную. С крупными чертами лица, костлявой фигурой, ястребиными глазами, от которых, как предсказывал Сиком, не укроется ни пылинки, с чересчур громким и резким смехом, настолько резким, что приглашенные к обеду вздрагивают и бросают на Эмброза сочувственные взгляды. Теперь же ее облик изменился, и она представлялась мне то уродом, вроде несчастной Молли Бейт из Уэст-Лоджа, при виде которой люди вежливо отводят глаза, то калеккой без кровинки в лице: она сидит под ворохом шалей, болезненно раздражительная и вечно недовольная сиделкой, которая в нескольких шагах от нее помешивает ложечкой лекарство. То средних лет, решительная, то жеманная и моложе Луизы — моя кузина Рейчел имела множество обликов, один отвратительней другого. Я видел, как она заставляет Эмброза опуститься на колени, чтобы играть в медведей, как дети забираются на него верхом и он, покорно уступая, теряет все свое достоинство. Или как, вырядившись в кисейное платье, с лентой в волосах, она капризно встряхивает локонами, а Эмброс, откинувшись на спинку стула, рассматривает ее с идиотской улыбкой.

В середине мая пришло письмо, в котором сообщалось, что они все же решили остаться на лето за границей. Я едва не вскрикнул от облегчения. Я больше прежнего чувствовал себя предателем, но ничего не мог с собой поделать.

«Твоя кузина Рейчел еще не разобралась с делами, которые необходимо уладить до отъезда в Англию, — писал Эмброс. — Поэтому мы решили — можешь себе представить, как это нас огорчает, — на

время отложить возвращение домой. Я делаю все, что могу, но итальянские законы не наши, и примирить те и другие — не так-то просто. Мне приходится тратить уйму денег, но дело стоит того, и я не сетую. Мы часто говорим о тебе, дорогой мальчик. Как бы я хотел, чтобы ты был сейчас с нами!» Далее он задавал вопросы о работах в имении, ко всему проявляя всегдашний горячий интерес; и я подумал, что, должно быть, сошел с ума, если хоть на минуту предположил, будто он может измениться.

Все соседи, конечно, были очень разочарованы, когда узнали, что лето молодые проведут не дома.

— Возможно, — сказала миссис Паско с многозначительной улыбкой, — состояние здоровья миссис Эшли не позволяет ей путешествовать?

— Ничего не могу вам сказать, — ответил я. — Эмброз упомянул в письме, что они провели неделю в Венеции и оба вернулись с ревматизмом.

У миссис Паско вытянулось лицо.

— Ревматизм? И у нее тоже? — проговорила она. — Какое несчастье! — И задумчиво добавила: — Видимо, она старше, чем я думала.

Простая женщина, ее мысли имели только одно направление. В двухлетнем возрасте у меня были ревматические боли в коленях. От роста — говорили мне старшие. Иногда после дождя я и сейчас их чувствую. И все же мы подумали об одном.

Моя кузина Рейчел постарела лет на двадцать. У нее снова были седые волосы, она даже опиралась на палку. Я увидел ее не тогда, когда она ухаживала за розами в своем итальянском саду, представить который у меня не хватало фантазии; постукивая палкой по полу, она сидела за столом в окружении юристов, лопочущих по-итальянски, а мой бедный Эмброз терпеливо сидел рядом с ней.

Почему он не приехал домой и не оставил ее заниматься делами? Однако настроение мое улучшилось, как только желанная новобрачная уступила место стареющей матроне с прострелами в наиболее чувствительных местах. Детская отступила на второй план; я видел гостиную, превратившуюся в заставленный ширмами будуар, где даже в середине лета жарко пылает камин, и слышал, как кто-то раздраженно велит Сикому принести угля — в комнате страшные сквозняки. Я снова принялся петь в седле, травил собаками кроликов, купался перед завтраком, ходил под парусом в лодчонке Эмброза, когда позволял ветер, и перед отъездом Луизы в Лондон, где она собиралась провести сезон, доводил ее до слез шутками о столичных модах. В двадцать три года для хорошего настроения надо не так уж много. Мой дом принадлежал мне, никто его не отнимал.

Затем тон писем Эмброза изменился. Сперва я почти ничего не заметил, но, перечитывая их, в каждом слове все явственней улавливал странное напряжение, в каждой фразе — скрытую тревогу, мало-помалу проникающую в его душу. Я понимал, что в какой-то мере это объясняется ностальгией по дому, тоской по родным местам и привычному укладу жизни, но меня поражало ощущение одиночества, тем более непонятное в человеке, который женился всего десять месяцев назад. Эмброз писал, что долгое лето и осень были очень утомительны, зима наступила необычно душная. Несмотря на то что на вилле высокие потолки, дышать совершенно нечем, и он бродит из комнаты в комнату, словно собака перед грозой, но грозы все нет и нет. Воздух не становится свежее, и он готов душу отдать за проливной дождь, хоть он и вызывает новые приступы болезни. «Я никогда не страдал головной болью, — писал он, — но теперь она часто докучает мне. Порою она просто

Дюморье Д.

Д 96 Моя кузина Рейчел : роман / Дафна Дюморье ; пер. с англ. Н. Тихонова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 416 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-10710-6

Роман Дафны Дюморье (1907–1989) «Моя кузина Рейчел», по мнению многих критиков, не уступает прославленной «Ребекке», а в чем-то и превосходит ее. Это прекрасный образец развития традиции «готического» и «сенсационного» романа: детективная интрига сочетается с необычной любовной драмой, разворачивающейся на фоне лирических пейзажей Корнуолла и живописных картин Италии в сороковые годы XIX века. С каждым поворотом сюжета читатель все больше теряет в догадках, кто перед ним — жертва несправедливых подозрений или расчетливая интриганка; но к какой бы версии он ни склонялся, финал окажется неожиданным. Изданный в 1951 году роман мгновенно стал бестселлером, и всего через год на экраны вышел одноименный фильм с Оливией де Хэвиленд и молодым Ричардом Бартоном; в 1983 году по роману был снят телевизионный сериал.

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

ДАФНА ДЮМОРЬЕ
МОЯ КУЗИНА РЕЙЧЕЛ

Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Корректоры Елена Шнитникова, Анна Быстрова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 01.03.2019. Формат издания 75 × 100¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 18,33. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.

www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах

на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



V-VAK-18738-06-R